

## ФЕЛИКС ВЕТРОВ ПАМЯТИ БОРИСА ГОРЗЕВА

Печальная весть донеслась из Москвы: 27-го июля не стало Бориса Аркадьевича Горзева, прекрасного прозаика и поэта.

И это известие, как ножом, полоснуло сердце.

Почему? Мы ведь не были ни друзьями, ни близкими приятелями, да и встретились в жизни всего один-единственный раз, проведя вместе лишь несколько быстротечных часов.

Так могу ли, вправе ли я после столь мимолетного знакомства что-то писать о нем? Ведь наверняка найдется множество людей, способных вспомнить и рассказать о покойном куда больше и куда более значимое и интересное, нежели я?

Другими словами, автор этих строк, скорей всего, воздержался бы от каких-либо мемуарных писаний, если бы... если бы не одно странное стечение обстоятельств, волею судеб соединившее и сблизившее наши жизни.

А случилась та встреча давным-давно, шестнадцать лет назад, в течение которых никакого общения у нас не было, кроме одного лишь телефонного разговора этой весной, когда, вновь перечитав подаренную им тогда книгу, я пережил столь сильные чувства, что не смог их сдержать, и, с трудом раздобыв телефон, позвонил ему в Москву.

Позвонил, чтобы попытаться высказать всё, что взметнулось в душе по прочтении его повестей и рассказов, и хоть как-то выразить восхищение его мудрой изысканной прозой.

Разговор получился недолгим, теплым, но сдержанным.

Он поблагодарил меня за память, внимание и доброе отношение к своим трудам, но голос в трубке был тих и печален, и я понял, что дела его не слишком радостны. Чувствовалось, что Бориса Аркадьевича тяготило и томило нечто серьезное и важное, но посвящать едва знакомого человека в обстоятельства своей жизни он логично и справедливо не счел нужным. Поговорив немного и тотчас установив всего по двум-трем оброненным словам, что мы единомышленники во всём, что составило цвет, вкус и запах раскаленного воздуха нашего времени, мы распрощались. Знал ли я в ту минуту и мог ли думать, что никогда больше не услышу его негромкий глуховатый голос?

А познакомились мы вот как.

В начале октября 1999 года мне предстояло отправиться из Оснабрюка в Москву, и моя приятельница по эмигрантской жизни, исследовательница декабристского движения, театральная режиссер, писательница и педагог Ирина Бродская, узнав о предстоящей мне поездке, попросила встретиться в столице с её знакомым, писателем Борисом Горзевым, чтобы передать ему с представившейся okazji её новую книгу.

Разумеется, я согласился и улетел на родину.

Я позвонил ему днем 7-го октября, на второй или третий день как прилетел в Москву, и там сразу сняли трубку.

Я представился, и впервые услышал его голос, когда он спросил, как мне показалось, деловито и сухо:

— У вас есть время? Коли так, приезжайте прямо ко мне домой, — и продиктовал адрес.

Догорало московское "бабье лето", в яркой синеве над городом вовсю палило солнце, но воздух был уже по-осеннему свеж и бодряще холоден, как нередко бывает в начале октября. Я без труда нашел огромный кирпичный дом в Большом Тишинском переулке, нашел подъезд и квартиру и нажал кнопку звонка у двери. Она тотчас распахнулась: передо мной стоял худой человек в темном костюме и строго выжидательно смотрел на меня:

— Феликс Ветров? Проходите.

Мы пожали руки, и он чуть улыбнулся:

— Не взыщите, что зазвал к себе, сегодня я свободен, обстоятельства позволяют...

Длинное немолодое лицо, усы и короткая бородка с проседью, большие очки в темной оправе. За стеклами — умные, многое повидавшие невесёлые глаза.

— Ну что же, давайте знакомиться, Феликс. Мне Ира писала о вас. Знаю — вы тоже писатель. Читал ваши повести в "Юности".

— О, да когда это было!

— Однако запомнилось.

Его взгляд был серьёзен, узкое осунувшееся лицо казалось закрытым и непроницаемо отчужденным, но в чуть прищуренных, внимательно вглядывающихся глазах угадывалась доброжелательность, и в уголке рта таилась сдержанная улыбка. И кого-то сразу напомнил мне этот человек, кого-то близкого, дорогого, но я никак не мог сообразить — кого именно.

В комнатах его первого этажа было светлей, чем в прихожей, и когда он с приятной старомодной учтивостью, пропустив вперед, провел меня в свой небольшой, сплошь заставленный стеллажами с книгами кабинет, я смог рассмотреть его лучше и теперь заметил, что во всем облике его читалась давняя усталость, если не изможденность.

— Уж коли вытащил вас и заманил к себе, давайте, чаем напою. Посидим, поговорим... Вы же устали с дороги.

— Чай — это хорошо, — кивнул я, — только сначала поручение выполню. — И достал из сумки, и протянул ему хорошенький сверток с книгой Бродской, заботливо обернутой красивой подарочной бумагой и конвертом её письма.

Борис Аркадьевич поблагодарил, принял посылку и положил на угол письменного стола. Немного помолчал, закурил сигарету и вышел. А я, давно не видевший такого книжного богатства в доме, с жадностью перебежал глазами по знакомым и незнакомым корешкам переплетов. Я слышал, что он возится на кухне, постукивает посудой, и направился туда. Вошел — и он, оглянувшись на миг, глазами указал мне на стул у небольшого стола.

И в тот момент, когда он оглянулся, и я увидел его серьёзное, погруженное в мысль, задумчивое лицо, меня осенило вдруг: Чехов! Ну да, вот кого он напомнил мне сразу, не чертами лица, не очками и бородкой, но самим образом, самим обликом, исполненным душевной опрятности, достоинства и внутренней глубины. Чехов, чеховское — равно простое и непостижимое — витало над ним, как некая органично присущая его личности эманация. И это чувство, эта догадка вдруг взволновала и буквально пленила меня в нём.

Он наспех соорудил бутерброды, разлил чай по чашкам, выставил блюдце с печеньями, чуть усмехнулся:

— Конечно, надо было бы поднять за знакомство, но... к сожалению... увы!.. Ну, погодите... — и вышел из кухни.

Горзев вернулся через минуту. В его руке была небольшая книга в светло-сером бумажном переплете, и когда он показал мне её, я невольно вздрогнул. Это была его книга, и на обложке значилось:

«ТЕПЛЫЙ ПЕРЕУЛОК»

— Тёплый переулок! — удивленно воскликнул я, — Господи... Теплый переулок! Да как же... Почему такое заглавие?!

— Вижу, вам это что-то говорит, — чуть улыбнулся он. — Всё просто. Там, в Тёплом переулке, прошло моё детство, юность...

— Господи, Борис Аркадьевич! Да в каком доме вы жили?

— В двадцать втором...

— Где на углу с Зубовским проездом была крохотная «Бакалея» на два прилавка, а напротив через дорогу, тоже на углу, в деревянном домишке — малюсенькая булочная с крылечком и тремя дощатыми ступеньками перед дверью...

— Так значит вы...

— Ну да! И мы жили... в доме двадцать! И там прошло мое детство и юность... Понимаете!? Мы жили с вами в одном дворе!

— И... в школу вы ходили, следовательно, сороковую?

— Ну да, да! В сороковую, в какую же еще?

Мы с понятным изумлением смотрели друг на друга.

— Мать честная, — в первый раз и как-то осторожно, словно не веря себе, — коротко рассмеялся Горзев. — Вы подумайте! С ума сойти! Бывает же такое! Тут, и правда, надо было бы выпить, только мне...

— То есть вдумайтесь: годы и годы мы еще мальчишками изо дня в день встречались, видели друг друга, сидели рядом в школьной столовке... невероятно!

С новой неожиданной радостью мы смотрели в глаза друг другу через стол с чашками, и я видел, что вот то, чеховское, просветленное и возвышенное начало, внезапно обозначилось куда сильнее и определенней, словно солнце, пальнув жарким лучом, осветило его лицо, вмиг преобразив этого сдержанного на эмоции, человека.

— Слушайте, Феликс, — а математика нашего помните, старика?.. — Алексея Дмитриевича? По прозвищу Интеграл?

— Интеграл? А мы его звали Штанген-Циркуль — помните, как он всегда ходил, длинный, большими шагами, подавшись вперед и заложив руки за спину...

Господи, как нам сразу сделалось легко, просто и вольно, как влетела вдруг и вернулась, подхватила нас и потянула в себя та жизнь, как окружил воздух детства, отрочества — с дорогими знакомыми именами — дворовых приятелей, кликухами дворовой шпаны с грозными предводителями: длинным хулиганом по кличке Зелень и его другом, коротышкой Дедом...

— Вот их я помню плохо, смутно, — покачал головой Борис Аркадьевич... Я ведь был, как догадываюсь, в отличие от вас, мальчик не дворовый, далекий от той жизни, от того мира двора — классический еврейский отличник-очкарик: книжки, раздумья... потом — стихи... Но всё равно, всё равно — ну не чудо ли? Ведь и правда — с ума сойти! А кто у вас в школе был классной?

— Марина Лазаревна...

— Кротова? Литератор и русский язык? Ах, какая это была учительница! Мы ее просто обожали...

— А знаете, Борис Аркадьевич... нынешние, наверное, не поймут, но я любил свою школу, любит сам запах школы, любил ребят, наших учителей...

— Да и я любил, хорошая была школа.

Мы всё говорили, всё вспоминали и вспоминали... события школьные, истории двора... И так странно, так волнующе и дорого было всё, что всплывало в памяти в какой-то живой стереоскопии: увиденное и оставшееся навсегда в душах двух разных мальчиков, потом подростков и юношей, уже пожилыми людьми совместно воскрешавших из небытия и сплавлявших воедино своё прошлое: общий каток во дворе, хоккейные сражения, лыжные кроссы на Девичке — большом сквере на Девичьем поле, тянувшемся вдоль Большой Пироговской...

И странное, незнакомое чувство владело мной — будто я встретил вдруг и сидел за столом с собственным братом, о существовании которого вдруг только что узнал.

— Ну вот, держите, читайте, — с улыбкой сказал он, раскрыв книгу на развороте фронтисписа со своим прекрасным фотопортретом против титульного листа, — читайте и вспоминайте...

Он достал ручку и блестящим, изящным почерком вывел наискосок в нижнем углу титула: «Феликсу из Тёплого переулка от автора из Тёплого переулка. Кажется, мы все из «тёплого». С любовью, Б.Горзев. 7 окт. 1999»

Чай наш давно остыл за неожиданными разговорами, а Борис Аркадьевич принес еще одну книгу, озаглавленную «Летопись» — оказалось, то были его

стихи, и тоже подарил, оставив теплую запись. Он на глазах оживился, высвободился, словно стянул с себя тяжелые доспехи и вздохнул полной грудью. Лицо его потеплело, помолодело, и то, особенное, чеховское, обозначилось еще заметней. Мы говорили — и со дна памяти всплывало всё новое и новое... «А помните?...» «А вы знали?..»

Щелкнул замок входной двери и послышались шаги.

В кухню заглянула статная красивая женщина, и Борис Аркадьевич представил меня своей жене, и она, сбросив пальто, тоже присела за наш стол, присоединившись к чаепитию.

— Вы знаете, — вдруг снова внутренне напрягшись, иным, прежним голосом заговорил Горзев, — мы сейчас решаем для себя важнейший вопрос, кардинальный... Скажите, вы давно живете в Германии?

— Да пока еще совсем немного. Только год.

— И всё же... Год это год. Не так мало. А вопрос такой: положи руку на сердце — вот вы, лично, не жалеете, что уехали? Дело в том, что мы тоже подумываем об этом, но всё не можем принять решения. А тут Вы... прямо оттуда. Самая достоверная информация. Как вы считаете — следует собираться и уезжать?

Они оба с ожиданием и столь понятным волнением смотрели на меня. Что мог я им сказать? Слишком мал и ограничен был мой опыт.

— Понимаете... вы должны ясно сознавать одно: всякая эмиграция, удачная или неудачная — есть трагедия. Невозможность жить и дышать в собственном доме — это горе. Великое горе. И не стоит его преуменьшать. Но есть и другие факторы...

— Какие!? — спросили они почти одновременно.

— На мой взгляд, в конечном счете, всё зависит от ваших здешних обстоятельств. Только от них. Уезжать в другой мир, в другую культуру, в иное духовное пространство можно и нужно лишь тогда, когда оставаться и жить здесь дальше уже абсолютно неважно. Абсолютно! Когда исчерпаны все возможности, даже самые эфемерные. Даже больше скажу: когда альтернативой — только самоубийство, только петля. Это слишком трудное, во всех смыслах критическое решение и тяжелейшее предприятие. И если есть хоть малейший смысл, малейшая возможность и желание остаться — надо оставаться.

— Вы полагаете?..

— Уверен! Дорогие мои! Чужой мир — это всегда чужой мир. А у каждого человека, у каждой семьи — свои резоны, свои доводы и контрдоводы. Наше положение было безвыходным. И мы уехали. Так вот — жалею ли я? Скажу прямо и твердо: не жалею.

— И почему?

— Отвечу вам просто. Там я обрел то, чего был лишен здесь: я живу в поле не мнимого и фиктивного, но реального, действующего, и не подлежащего толкованиям и подгонкам под прихоти людей или обстоятельства — Закона. Живу в обществе, где, конечно, подчас какие-то правила и законы изредка нарушаются, но не в атмосфере тотального, повсеместно торжествующего наглого беззакония. И эта разница чувствуется на каждом шагу, ощутима во всём, она колоссальна, горька и мучительна для всех, кому дорога наша родина, но уж как есть — так есть. И значимость этого беззакония неизбежно будет здесь возрастать. Иного не дано.

— Вы даже представить не можете, насколько нам нужно и важно это слышать, — сказал Горзев.

И, помолчав немного, мотнул головой в сторону окна:

— У вас нет желания немного прогуляться? Пойдемте куда-нибудь... пройдемся... подышим солнцем, осенью, поговорим...

— Охотно! Смотрите — какая погода чудесная!

— Тогда пошли. А там, глядишь, и придумаем что-нибудь...

Мы тепло простились с его женой, Борис Аркадьевич торопливо натянул темную куртку, и мы вышли на улицу. Нам было всё равно куда идти, и мы двинулись куда-то неспешным шагом, кажется, в сторону Пресни.

Та светлая молодая волна, что захватила нас на кухне, откатила, мы задумались о другом, о своей стране, о родине и о нас самих в колесе её судьбы, мы шли в тишине и безмолвии и никто из нас, ни он, ни я не пытались вновь завязать прерванный разговор. Он молчал очень долго... да и я не знал, что сказать, слишком большая и трудная тема была затронута и словно придавила нас, отчего всякое слово теперь казалось натужно вымученным и неуместным.

Наша Москва, серая полоса асфальта под ногами, солнце, терпкая желтизна последних листьев на фоне звонко-синего неба, холодный воздух осени...

Очевидно, лишь наше общее прошлое могло что-то вернуть и исправить.

— А помните... жила в вашем доме — Ирка Тарасенко, красавица? Не помните?

— О, да разве забудешь такую, — всё понимая, благодарно взглянув на меня через свои большие очки, чуть улыбнулся он. — Ирка! Жгучая блондинка, рост под сто восемьдесят... Фигура, ноги безумной красоты... Где она теперь, интересно?

— А я знаю, — сказал я, радуясь, что мы, кажется, выползаем из своей башни молчания, — У меня в нашем дворе сохранились друзья на всю жизнь, и сегодня, расставшись с вами, я как раз собираюсь туда, к ним... А у Ирки — сын, муж — гитарист в оркестре Госцирка, а она — бухгалтер...

— Значит связь с тем нашим место не потеряна? Удивительно — через бездну лет! Поклонитесь тогда моему дому. А я там и не был, кажется, с тех пор как уехал. И как-то не тянет.

К моей радости он заговорил и вновь ушел в воспоминания, и речь его была строга, лапидарна, сжата и точна, ничего лишнего, никаких завитков-арабесок — лишь самое существенное, первостепенное. Я тогда еще не читал его прозы и не знал, что он и пишет так: рельефно, просто и точно, как и положено писателю-врачу, дважды коллеге Антона Павловича, хотя о судьбе его медицинской тоже ещё не знал.

Наш разговор расширил, разомкнул пределы бывшего соседства, мы рассказывали о себе, о прожитом, и оказывалось, что в наших судьбах имелось много похожего, и это сближало всё сильнее: столь понятные советские мытарства семей, унижения, оскорбления, постоянное сопротивление вечному давлению свинцовой плиты государства, постоянное преодоление препятствий и каверз, чинимых безбожным беспощадным режимом интеллигентскому сообществу, носителям богоизбранной и проклятой чернью, еврейской крови.

Мы говорили, припоминали, одно, другое... рассказывали, словно исповедались друг другу, на ходу по-писательски подмечали на пути что-то странное или смешное и показывали друг другу, и так... за разговорами, двигаясь Пресней к центру, как-то неожиданно оказались у Зоопарка и метро «Баррикадная».

— Ну что, — сказал Горзев. — шли, шли да и пришли. Вот мы почти что дома — зайдём?

— Куда? — не понял я.

— То есть как — «куда»? К нам. В наш дом, в клуб, в ЦДЛ. Надо вас накормить, а то ввек себе не прощу, что заморил гостя до голодного обморока.

— Знаете, Борис Аркадьевич, — признался я. — Для вас этот дом может быть и свой. А для меня он всегда был и остался чужим. Если хотите, вражеской территорией. Друзей в литературе я не завел, как-то не смог, да и не пытался занять. Прожил вдали от всей этой прилитературной суеты одиночкой, человеком сторонним, и не помню, чтобы когда-нибудь приход туда оказался радостным. Не смейтесь, но я мог бы рассказ написать о том, чем стали для меня в моей жизни редкие визиты и посещения этого дома. Наверное, я сам в этом виноват, но... уж как есть — так есть. Мне там плохо, тяжело, томительно, всегда одиноко...

— Ах, как я вас понимаю, как разделяю эти чувства. И как много у нас с вами схожего, даже странно. Но, поверьте мне, люди, хорошие люди, из писательской братии — есть. Ну а если со мной, если я вас приглашаю — пойдете?

— Пойду.

— У вас союзовский билет при себе?

— А я даже и не взял его с собой в Москву...

— Ну, ничего, как-нибудь прорвемся по моему...

И через четверть часа мы уже сидели с ним за столиком в знаменитом верхнем, «расписном» или «пестром» буфете, где все стены были некогда разрисованы лучшими художниками, мастерами шаржа, и исписаны писательскими «дацзыбао» — сентенциями, изречениями и экспромтами знаменитостей, из которых почему-то запомнилась лишь одна назидательная максима Михаила Светлова: «Молодые, будьте стойки // При виде ресторанной стойки».

Я озирался с некоторым изумлением: давно тут не был, собственно с начала новых времен и великих перемен.

Стены остались прежними, но воздух изменился неузнаваемо, и, похоже, стало даже хуже прежнего. Раньше тут шло нескончаемое, повальное пьянство и творилась форменная колгота маленького замкнутого мирка писательских амбиций, тщеславий, завистей, ненавистей и любовей, симпатий и антипатий, за которыми большей частью скрывалось неустанное многоликое делячество и борьба за место в «хвосте» к печатному станку и издательской кассе.

Но теперь лиц писательских как-то заметно поубавилось, зато за новыми современными столиками властно и прочно восседали важные люди новейшей формации — мордovorоты в фирмовых синих «блейзерах» с золотыми пуговицами и малиновых бархатных пиджаках — откровенно уголовные откормленные хари и рыла с тяжелыми мрачными глазами бывалых убийц.

— Ого... — не удержался я. — Экие тут метаморфозы! Давно ж я не был в свете!

— А вы думали! Мир не стоит на месте. И не всматривайтесь вы в них так, не рискуйте! Лучше отводите взгляд, глазами не встречайтесь. Нет никаких гарантий, что вы кому-нибудь из этой публики не понравитесь, и он не вытащит пистолет.

— Шутите?

— Ничуть.

— Ну и порядочки тут теперь, о Кафке с Борхесом не потолкуешь.

— И незачем толковать. Не для того сюда теперь приходят. Так что вам заказать? Выпить хотите?

Я был наслышан от знакомых о новых нынешних ценах и прејскурантах экспиcательской кухмистерской, где рюмка виски стоила двадцать долларов, и решительно отказался. Да и пить не хотелось. И понятно было, что «угощающая сторона» при самом искреннем желании порадовать и попотчевать гостя, весьма ограничена в средствах.

— А вы сами что будете?

— Да так... возьму что-нибудь.

— Ну вот и мне — что-нибудь. Что себе закажете — тем и я ограничусь. К тому же в том доме, где меня ждут вечером, накормят так, как здесь и не снилось. И платим вместе, поровну.

— Экий вы, право... Лишаете удовольствия почувствовать себя щедрым Крезом... — засмеялся Горзин. — Ну, да Бог с вами.

И тут к нему подошли какие-то знакомцы, явно писательского вида господа, он радостно поднялся им навстречу и они сердечно обнялись, Горзев сразу оживился, раскрепостился, и я увидел, что здесь он у себя, среди своих, близких и понятных существ, и что в этом клубном воздухе — его отдохновение, привычная, насущно необходимая среда.

Он представил меня подошедшим, и мы познакомились, чтобы уже больше не увидеться никогда.

Потом нам принесли и подали какие-то салатки, кофе... мы не спеша, перебрасываясь словами, закусывали, а я вспоминал прошлое и чувствовал, как на меня вновь накатывает та знакомая тоска, что всегда овладевала мной в этих стенах.

Борис Аркадьевич курил почти непрерывно, глаза его прояснились и повеселели, он мило, тонко шутил, здоровался с проходящими, обменивался с ними короткими репликами, приветствовал кого-то взмахом руки, и уже не был тем замкнутым суровым человеком, каким предстал при встрече — словно этот ресторанный шум, разговоры, голоса на время сдули с него все тревоги, все заботы, все неразрешимые вопросы.

Потом мы вновь оказались на улице, и побрели по Большой Никитской в сторону Кудринской площади. Уже вечерело, и громадный синий силуэт высотки четко рисовался на фоне горящего медью заката, мы шли молча, он хотел проводить гостя и посадить на троллейбус, который должен был увезти меня в места нашей общей юности. Расставаться было грустно.

К вечеру стало заметно холодней, задул ветер, и на остановке он зябко ёжился в своей курточке и всё курил, курил.

Мы уже сказали все слова, пожелали друг другу всего-всего, и стояли в молчании. Наконец, в потоке машин завиднелся троллейбус, мы крепко пожали руки, глядя в глаза друг другу, и я твердо сказал:

— Не уезжайте, Борис Аркадьевич. Вы здесь у себя и у вас всё здесь. Вам нельзя уезжать!

Он неопределенно пожал плечами, но смотрел на меня требовательно, благодарно, серьезно, и этот вдумчивый, запоминающий чеховский взгляд был мне невыразимо дорог. Троллейбус подъехал, я вошел в его светящееся нутро и приник к окну. Мы смотрели друг на друга через стекло, и оба одновременно прощально помахали руками; машина тронулась, покатила, и пока мог видеть, я смотрел назад, как всё уменьшалась его фигурка в вечерней синеве.

Прощайте, Борис Аркадьевич...

Но мы не расстались.

Вы всегда со мной.

## **Анатолий Николин. Памяти Бориса Горзева. Эссе**

### **«... С АНГЕЛАМИ НАДО БЫТЬ ДЕЛИКАТНЫМ»**

Я знал его мало и, как оказалось, недолго. Пропускал страницы журнала с его вещами, не желая утруждать себя чтением незнакомого автора. Времени на чтение хронически не достаёт. Экономить на всем — на классике (а надо бы учиться и учиться), на современниках — а вдруг ошибёшься и потратишь драгоценное время попусту? Читаешь лишь тех, кого хорошо знаешь. И любишь. Кого почувствовал человеком одной с тобой группы крови. Открыл ему свои ум и сердце. Как и он тебе...

В памяти, когда я думаю о Борисе Горзеве, задержалась суховатое, с бородкой, лицо, серый элегантный костюм. Внимательный зрачок фотокамеры застиг его стоящим на сцене у микрофона; где, перед кем он выступал — опять же не уместилось в памяти. Да я и не особенно пытался. Писателей много, знать их всех невозможно. Обращаешь внимание на тех, кого посоветовали друзья, чьему вкусу доверяешь. Или кто сам ворвался в размеренное твое бытие, смешав и сместив ценности и приоритеты.

Так случилось и с Борисом Горзевым. В февральской книжке 2015 г. журнала «Семь искусств» прочел его рассказ «Полустанок» Ешкандай». Беглый взгляд, случайное прочтение. Заставила обратить на себя внимание фраза из текста: «Странно — вы на месте, но не местный». Детская изумленность перед очевидностью, о которой даже не задумываешься. Как это так: чужое место, а ты чувствуешь себя здесь как дома! А ведь каждый хоть раз в жизни это чувство испытал. Знает о нем по себе, по своему опыту. А отметил его и написал о нем он, Борис Горзев.

И далее длится рассказ, как непрекращающаяся медитация. Ценнейшее качество, свидетельствующее о писательском мастерстве, — умение творить на одном дыхании! Как чистят яблоко — одной стружкой. С отклонениями в культуру и психологию, в тоску и безнадежность человеческого существования. В милосердие и любовь — этими чувствами пронизан весь текст.

Насладившись и перечитав его еще раз, бросаешься искать дальше. Автор оказывается совсем рядом, в «Зарубежных задворках»! И вот — новое наслаждение. На этот раз от чтения рассказа «Фарфоровая чашка с синим ободком». Рассказ о Крыме, о местах, которые хорошо знаю, — сам не раз там бывал. Но и тут при чтении преследует магия творчества: все в рассказе так, как бывает в жизни, и... не так. Прикосновение духа к реальности видоизменяет все — пейзажи, человеческие характеры — даже внешний вид человека! — историю, религию, нравственные и философские смыслы. Художественное произведение становится вещью в себе, без оглядки на действительность. Оно не давит повседневностью и банальными сентенциями. Политикой и «борьбой мнений». Автор выше сиюминутных забот, его интересуют темы простые и вечные: что такое жизнь и как жить, чтобы в мире царили добро и справедливость. И обычные человеческие радости, — наслаждение ими во всей

полноте земных чувств. Остро и тонко он чувствовал жизнь и печалился, что она скоротечна...

Тоской по уходящей жизни были пронизаны его письма, когда мы познакомились и стали присылать друг другу письма по электронной почте. Он все время твердил, что жизнь уходит. Уходит быстро и безвозвратно. Цитировал строки из стихотворения О. Бешенковской:

*Все будет так же, как при мне,*

*хотя меня уже не будет:*

*щербинка эта на луне*

*и суетящиеся люди.*

*И золотое Рождество*

*с его цинизмом, китчем, сказкой,*

*и детской правды торжество*

*в тетради, названной «раскраской»...*

И грустно шутил, когда я недоумевал, почему он такой «тихий» автор.

— *«Мой милый Анатолий! Я — старый поэт-писатель, много публиковавшийся, однако никак не перехваленный. Даже скорее недохваленный. Как говорят, очень известный в очень узких кругах. Поэтому Ваши слова мне действительно приятны».*

— *«Присылайте Ваши произведения Евгении Жмурко, она их ждет и с удовольствием опубликует!»*, — отвечал я.

— *«... я стольким ей обязан, что присылать еще что-то мне как-то неловко. Она — мой Ангел-хранитель. А с Ангелами надо быть деликатным, как и всегда в любви»...*

Потом была его последняя публикация в Za- Za (№15, 2015г.) — маленький роман с символическим названием «И жизнь, которая одна». Я не знаю, успел он увидеть ее в бумаге и порадоваться, или публикация состоялась после его ухода из жизни.

Адрес его электронной почты до сих пор высвечивается у меня в компьютере. Хотел бы оставить его навсегда. Как память, что он был в моей жизни, а я — в его...

## ПАМЯТИ БОРИСА ГОРЗЕВА

### ЖЕСТОКАЯ И СВЕТЛАЯ...

Удивительно, как в это смутное российское время поэтические рассказы Бориса Горзева могли находить читателя? Значит, слава Богу! Есть ещё такие, которым необходимы сказки о любви, о верности, откровения о совести, о чести, о смерти. Книжки – о страшном и прекрасном. Какие-то теплые переулочки, а не книжки. В них хочется зайти, по ним хочется побродить и, если можно, поселиться навечно...

Не могу сказать, что я знала очень хорошо автора этих книжек. Мы встречались однажды, в Москве, в Центральном Доме литераторов. Он был редактором моей книжки «Поклонник истины святой...». Встреча должна была быть очень деловой. Но о моей книжке мы почти не говорили. Она ему нравилась, и всё остальное было неважно. Мы говорили обо всем. И он искренне удивлялся: «Как вы можете такое смотреть по телевизору? Я не смотрю телевизор и не читаю газет. Разве можно на это тратить минуты?»

А на что нужно тратить минуты? Об этом мы и говорили. Пили кофе и говорили о желанном искусстве, о страстях последних времён, о декабристах, о Пушкине, о брачной программе царя Салтана и молодом реформаторе князе Гвидоне... На дворе стоял девятнадцатый век. Назавтра я улетала в Германию...

Мы переписывались несколько лет. Вынашивали план: написать совместный киносценарий о декабристах. Не о тех, которые вышли на Сенатскую площадь, и ничего у них не получилось, поскольку были «страшно далеки от народа». А о тех, которые предавали друг друга во время следствия, о тех, кто пришел к Богу в изгнании, кто плакал, узнав о смерти Николая Первого, о Бенкендорфе, который на самом деле совсем не такой, каким нам его представляли. Свои планы мы не реализовали. И последние письма Бориса Горзева были очень короткими и печальными.

У меня много его книжек. С очень теплыми дружескими надписями. Одну из них не могу не привести. «Ира! Не смущайтесь! Как говорил классик: что наша жизнь? Игра!» Это – жестокая игра. Но, чёрт возьми, светлая». Я мало знаю о его жизни. Но уверена, света в ней было и осталось много.

ИРИНА БРОДСКАЯ, журналист, писатель

## **Заметки о творчестве писателя Бориса Горзева(последн)**

Я познакомился с Борисом Горзевым в 1979 году на Школе по медицинской генетике в Ростове Великом. Тогда он ещё не был писателем Горзевым, а был научным сотрудником Института медицинской генетики АМН СССР. Сотрудница, занимавшаяся расселением вновьприбывших в гостинице, сказала, протягивая мне ключ от комнаты: «Вы не пожалеете, что заполучили такого соседа». Войдя в комнату, я увидел необычайно худого человека, вид которого вызвал из памяти слова старой детской песенки «...нету фаса, остался только профиль». Сам же профиль имел выраженный еврейский вид. Я представился. — «Боря» ответил он, и достав из тумбочки бутылку с уже разведенным спиртом, убедительно произнёс «Надо отметить знакомство». В ходе этой процедуры выяснилось, что он занимается генетикой язвенной болезни, что сам давно страдает этим заболеванием, что однажды, потеряв от боли терпение, обратился к знаменитому тогда доктору Николаеву, лечившему язву желудка голоданием, и что Николаев выгнал его со словами «отожришь сначала». Знакомство наше переросло в дружбу, которая длилась 36 лет.

О его литературной деятельности я узнал лишь года через два после нашего знакомства. Во время моего очередного приезда в Москву, Юля, его жена, сказала мне, что Боря пишет и посоветовала попросить у него почитать что-нибудь из написанного. Боря дал мне рукописи трёх рассказов, датированных 1978 годом. В них уже отчётливо проявлялись те особенности его творчества, благодаря которым он из младшего научного сотрудника Бори Альтшулера вырос в большого писателя Бориса Горзева. Но не сразу. Прозу Горзева первым опубликовал журнал «Согласие» в самом начале 90-х. Таким образом, около 15 лет потребовалось для того, чтобы его признали писателем. В последующие 20 лет он опубликовал стихи и прозу практически во всех толстых литературных журналах — "Новом мире", "Знамени", "Дружбе народов", "Октябре" и др., издал 16 книг — три сборника стихотворений и 13 книг прозы. О чём писал Горзев? Конечно, о вечном. О преданности и предательстве, о жизни и смерти, о добре и зле, о любви, разумеется. Но, это — темы общие для всего искусства. Поэтому произведения, написанные на одну и ту же тему, отличаются друг от друга тем, как они написаны. В этом отношении работы писателя Горзева могут быть охарактеризованы рядом особенностей, которые делает его творчество уникальным. Одну из таких особенностей я бы назвал «писательское мастерство». Под этим термином я понимаю умение писателя передать читателю СОДЕРЖАНИЕ своих эмоций, своих «душевных переживаний». Это не восклицание «Какой ужас!», это не строгое научное описание. Это и не бытовой язык, понятный всем. «Это... особый язык, на котором о многих важнейших и глубочайших вещах можно сказать лучше, чем на обыкновенном языке». (Р. Акимов. Цитируется по Л.Саломон в кн. «Содружество наук и тайны творчества». Изд. Искусство. М. 1968.стр.286). Иногда его называют «языком искусства» или «художественным языком». Вот например, как Горзев реагирует на террористический акт 11 сентября 2001 года.(«Параллельные миры» Вестник, 2001, 2, с.42-43) *«...я влюблялся, любил, способствовал рождению и воспитанию моих детей и, следуя напутствиям классиков, кажется, посадил несколько деревьев. Но всю свою жизнь я писал, и теперь ясно, что в последнее десятилетие писал неплохо, а точнее, хорошо. Я это знаю. Но знаю и другое: то что я написал — растаявший звон волшебной золотой монеты о*

*камень древней мостовой. Останется многое: мостовая (её камень подобно иерусалимскому, переживёт эпохи), золотая монета (сей отчеканенный с профелем очередного кесаря, металл так и пребудет не эквивалентом, а сутью отношений в «том» мире) — исчезнет лишь одно: волшебный звон.»* В этом отрывке автор стремится передать читателю своё чувство отчаяния из-за того, что люди не понимают и не желают понять друг друга, чувство горечи, сожаления и разочарования из-за осознания ненужности своей работы — дела всей его жизни, чувство безнадёжности, потому что кажется: ничего изменить нельзя.

Другая особенность творчества Горзева — поэтичность его прозы (наиболее отчётливо она выражена в рассказе «Ведьмица», которую вообще можно считать поэмой в прозе). Это не удивительно, потому, что Горзев-поэт сильнее, чем Горзев-прозаик. Сам Горзев был согласен с этим утверждением. Эстетические эмоции в стихах Горзева выражены ярче, убедительнее, чем в прозе.

*Господи, разве тебе не везло?*

*Глухо ударит о днище весло*

*Следом уключина скрипнет уныло...*

*Месяц не вспомнишь — не то что число*

*Господи, как же давно это было!*

*Чайка с небес упадёт на крыло.*

*Свет над водою прозрачно остынет.*

*Белые ночи — беззвучья пустыня...*

*Господи, чудно Твоё ремесло...*

*Спросишь: а вправду ли в мире есть зло?*

*И — в сотый раз не поверишь ответу.*

*Жить, повторишь, значит следовать свету.*

*Господи, как же тебе повезло!*

И ещё о писательском мастерстве. В романе «Блаженство горького творенья» Горзев описывает работу художника. Сначала — набросок. Детально, до мельчайших подробностей излагается, как он закрепляет ватман и делает набросок. Потом, как готовит грунтовку, как грунтует холст, как потом высушивает его... Позже он стоит у холста и прикидывает свою будущую картину: освещение, расположение персонажей, фон, цвет одежды, складки одежды и т.д. и т.п. скрупулёзно все мелочи, отмечая роль и значение каждой. Читая эти места, я не только вижу, как он делает всё это, но и ощущаю пальцами «лист матового шероховатого ватмана». Такое воздействие на меня оказывала только проза Ю.Казакова. На вопрос читателя, как он мог написать такое, не будучи художником, он ответил: «Как? Не знаю. Наверно, я могу проживать чужие жизни, в том числе жизнь художника, не будучи им. И не только художника. У меня есть рассказ "Музыка Алябьева" и относительно большая вещь "Итальянский роман". Так вот, там я проживаю музыку и судьбы некоторых композиторов, не будучи музыкантом. А рисовать я почти не умею». Эта способность проживать чужие жизни — ещё одна особенность творчества Горзева.

С проблемой любви и ненависти у Горзева сложности. Хотя бы потому, что ненависти там нет. Зато персонажи любят, говорят о любви, спорят о любви, обсуждают феномен любви почти в каждом произведении. И читателя не удивляет, что в рассказе «Полустанок Ешкондай» два старика, оба страдающие болезнью Паркинсона, прогуливаясь перед сном вокруг заброшенного кладбища, рассуждают о женщинах и о любви.

Ещё в начале своей писательской деятельности Горзев устами своего героя — А.Г. Бестужева из повести «К Лизе» дал определение слову «любить»: любить — это хотеть, чтобы любимому было хорошо, даже ценой собственных страданий. Это хорошее определение, но оно слишком общее. Оно включает и любовь к детям, и любовь к родителям, и проч. Горзев же ищет любовь в чистом виде, так сказать — неослабевающая любовь между мужчиной и женщиной на всю жизнь. Экскурсы в истории личной жизни знаменитых людей, позволили ему отобрать те признаки, которые позволяют женщине претендовать на роль такой счастливцы. Она должна быть одновременно музой, женой, любовницей и заботливой матерью. А также рачительной хозяйкой дома, менеджером, секретарём, к тому же, обязательно духовно богатой и высокоинтеллектуальной. В романе «Воронцов и др.» Горзеву удалось создать образ такой женщины, но по выходе романа в свет автор получил письма от читателей, содержащие критику этого выстраданного образа. Говорилось, в частности, что образ неправдоподобен, и в жизни так не бывает. Ответ на эту критику стоит привести полностью, так как он интересен во многих отношениях.

*(из письма Т) «Я уже писал тебе, что образ Жени не получился у тебя, он, выражаясь словами П, неправдоподобен, не реален и, добавлю, портит тот фон, на котором ты выписываешь образ себя-Воронцова.»*

(Из письма Горзева) " Дорогие Т и П!

Пишу вам единое письмо, потому что мне надо объяснить свою позицию по поводу сказанного вами о моей повести «Воронцов и другие».

Я достаточно разумен, чтобы понимать: если оба моих друга, люди умные, литературно образованные и относящиеся к моему творчеству предельно доброжелательно, если они в один голос говорят «Нет!», то, значит, это почти объективно. Как говорят немцы, один случай — это случай, а два случая — уже статистика.

Всё это так, однако я недаром обронил слово «почти». Тут та самая история, когда люди трезво мыслящие, реалисты в душе, читая что-то, восклицают «Не верю!» или «Это неправдоподобно!», забывая (или не зная о том изначально), что **искусство не есть жизнь, а то, что могло бы быть в жизни (или должно было быть)**. Сей тезис вовсе не мой, его повторяли Пастернак и Цветаева, а вообще-то впервые об этом сказал Тредьяковский.

Мой герой получил ... и свободу, и истинную любовь. Это моя, автора, гиперкомпенсация, а для героя повести — норма, но норма **литературная** — то, чего могло быть или должно было быть. Хотите сказать, сказка? Пожалуйста! Но это сказка искусства. А вы восклицаете «Не верю!» Да, если в реальной жизни, это маловероятно, но — **вероятно**, то хоть какой-то шанс словить подобное всегда есть. Вот искусство этот маленький шанс и отлавливает. Иначе всё мерзко, грустно, пошло, похабно. «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!» (Пушкин).

А вот вы, ... вы не обманываетесь. Вы упертые реалисты, живущие по Станиславскому. Это не упрек, а моя печаль.

В подтверждении сказанного о различии искусства и реальной жизни обязан процитировать... кого? — себя. Это стих я написал давно, и мне он кажется очень удачным, образным, правильным, художнически верным. (Выделения по тексту сделал сейчас специально.)

*Тобою утро обозначено,  
сады с фонтанами и птицами.  
Что было до тебя — не значимо;  
ну, скажем так: лишь репетиция.*

*И всё, что будет много после,  
откликнется одним безумием.  
С тобой нельзя быть; только — возле,  
как под курящимся Везувием...*

*Вот этот вход, вот эта арка,  
вот дворик тот, где зреют вишни.  
Не здесь ли ждал тебя Петрарка  
и сожалел, что ты не вышла?*

*Быть может, время не пришло,  
быть может, странные обычи:  
презрела некого Просперо,  
гнушалась роли Беатриче.*

*Чума, война — какие мелочи  
в сравненье с вечности качелями!  
В садах Флоренции, у Медичи,  
ты с кем шепталась, с Боттичелли?*

*Стояла, гордая, позируя,  
а он писал, в тебя вникая,  
и ни мазком не фантазируя:  
ты и сегодня все такая!..*

***Как белой магии сеансу  
внимаю, захмелев всей кровью:  
любовь подобна Ренессансу,  
как не-любовь — средневековью.***

*Но, лоб в паденьях изукрасив,  
пойму потом (и зубы стисну),  
что Ренессанс — лишь пункт на трассе  
от вандализма к прагматизму.*

***И что любовь (озноб метели!),  
как и искусство высшей пробы, -  
не то, что есть на самом деле,  
а только то, что быть могло бы...***

*Ах, это Слово, что в начале  
(исток твоих бездонных истин)!  
Молились, с вечностью венчали,  
ломали, точно пальцы, кисти,*

*смирjali страсть забвеньем плоти,  
гордились участью вассальей  
и не резцом ль Буонарроти  
твой лик в Историю врезали?..*

*В который раз душа изранится,  
который век отвалит хмуро...  
Как звать тебя, моя избранница:  
Наталья, Юлия, Лаура?*

*Вступаешь — робко, неумеючи -  
в свой сан, презрев умильность челяди.  
Чума, война — какие мелочи  
в сравненье с вечности качелями!*

(1986)

На этом всё, пожалуй.  
Обнимаю. Ваш Боря»

Ну что тут скажешь? Трудно доходчивее объяснить назначение литературы.

Проблема добра и зла занимает главное место в творчестве Горзева.

Проблема эта у него не абстрактная философская, а конкретная, связанная с конкретным выбором поступка в конкретной ситуации. Уже в повести «Ведь каждый человек», написанной в 1978 году, автор рассматривает щекотливую ситуацию нравственного порядка. Декабриста Бобрищева-Пушкина допрашивают на заседаниях «Тайного комитета» о том, где он спрятал газету

«Русская правда», содержащую антигосударственный документ, составленный П.П. Пестелем. Несмотря на угрозы, на шантаж со стороны любимой женщины, на вероломство Государя, обвиняемый не раскрыл место расположения тайника, не оговорил никого из товарищей. А потому был осуждён и сослан в Сибирь. И вот он, фактически умирающий, едет по зимней дороге куда-то к Иркутску и замечет, что воздух впереди лошадей сгущается, из него вырисовывается образ П.П. Пестеля и между ними завязывается беседа, в ходе которой Пестель сообщает собеседнику, что он сам (Пестель) выдал на следствии всех своих товарищей и указал где спрятана газета. И сделал он это потому, что взамен на это смертная казнь его товарищей будет заменена на каторжные работы, но сам Пестель будет повешен. Честнейший Бобрищев-Пушкин в недоумении: спасти от смерти ценой собственной жизни — это замечательно, но предательство? Тут вновь рядом появляется Пестель и произносит: «Вот, мой друг, что скажу я Вам. Совесть моя чиста, но понял я однажды, что только этого мало. Чистой совести довольно чтобы умереть, но жить нельзя без достоинства». Здесь Горзев ставит два фундаментальных вопроса:

1) можем ли мы делать зло (совершать безнравственные поступки) ради получения блага впоследствии; и, с другой стороны, можем ли мы делать добро, когда предвидимым последствием этого является зло.

2) Вправе ли мы судить людей, совершающих такие поступки. Каково должно быть отношение к ним со стороны общества и отдельных лиц? Горзев пытается найти общее решение, помещая своих героев в ситуации, где надо сделать выбор разной степени драматичности и наблюдает за их поведением. Я оставляю читателю возможность насладиться высокоинтеллектуальной дискуссией персонажей романа, возникшей вокруг рассматриваемых ситуаций. Скажу только, что общего решения они не нашли. (Да и есть ли оно?) bg

Последняя особенность, о которой я хотел бы упомянуть — его произведениям присуща «известная научность мысли» (Сабанеев 1959). Это ожидаемо, т.к. он получил хорошее медицинское и биологическое образование, и главное, принадлежал к учёным со сложившимся мировоззрением. Это обстоятельство несомненно влияло на его художественное творчество. Почти в каждой его книге представлено либо изложение, либо рассмотрение, либо обсуждение какого-нибудь естественнонаучного и/или философского аспекта жизни: от эволюции женской талии до философии Давида Бома. В повести «И жизнь, которая одна» Горзев сделал попытку рассмотреть с помощью художественных средств тезис о том, что исторический процесс детерминирован генетикой человека. Я думаю, что Горзев, таким образом, надеялся найти объективную основу для таких этических понятий как добро и зло и, благодаря этому объективизировать критерии нравственного поведения. А может быть это просто мой домысл?

Надо сказать, что творчество Горзева рассчитано на вдумчивого читателя. Но несмотря на серьёзность поднимаемых проблем, книги его светлы и конец их счастливый.

Как там у него сказано?

Жить, повторишь, значит следовать свету.

Господи, как же тебе повезло!

## **Анатолий Михайлович Полищук**

### **Беер Шева, Израиль**

---

Михаил Рицнер

Из книги воспоминаний

Ростов Великий

...1979 год. Мне 32 года, я работаю главным врачом новой психиатрической больницы, кандидатская диссертация уже позади (1975). Дома жена и сыновья (10-ти и 4-х лет). Вроде бы все было хорошо, кроме одного: я не хотел оставаться главным врачом еще более, чем 2-3 года. Научная работа и генетика нервнопсихических заболеваний — вот, что привлекало меня.

— А почему бы тебе не приехать на стажировку в Институт медицинской генетики (ИМГ)? — спросил Кир Гринберг, когда мы познакомились на Международном конгрессе генетиков (1978). Кир "фонтанировал" идеями и его вопрос упал, как говорится, на готовую почву.

— Отличная идея, — ответил я, не задумываясь, — и к кому я могу обратиться?

— Напиши письмо на имя директора нашего института и пришли мне, а я передам, кому следует, — предложил Кир без лишних обсуждений.

Вернувшись домой с конгресса, я обратился в ИМГ с просьбой принять меня на рабочее место в лабораторию клинической генетики. Ответ был не просто положительным. Мне также сообщили, что в период стажировки я смогу принять участие в Школе молодых ученых по медицинской генетике (г. Ростов Великий, 17-23 марта, 1979). Это был бонус!

Нас поселили в Ростовском Кремле в огромных Красных палатах, где были выставлены по 10-12 коек в каждой палате, что способствовало быстрому знакомству, организации вечеринок и ликвидации немалых запасов спирта, специально приготовленного для «дружбы народов». Были и меньшего размера кельи. Это была интересная «тусовка», как сказали бы сейчас.

Программа была обширной и интересной, а лекторы — ведущие ученые страны...

...Лекторы были легко доступны школьникам! Но самое интересное было по вечерам и ночам — дискуссии, споры, много спирта с лимонными корками, очень простая закуска и так почти до утра. Кир перезнакомил меня чуть ли не со всеми школьниками.

Среди моих новых знакомых оказались Борис Альтшулер, Толя Полищук, Ааво Микельсаар, Олег Розенберг, Женя Шварц и другие.

И как мы избежали тленья ...

Прозрачна ночь над Соловками.

Кресты разъятыми руками

изображают "вот те на!",

но только с ноткой удивленья:

"И как мы избежали тленья

в такие, братцы, времена?"

Эта первая строфа из стихотворения «В тон высокой строке, брату» Бориса Альтшулера (он же Борис Горзев), с которым я познакомился на школе. Когда я впервые увидел Бориса, он выглядел худым и мрачноватым, правда, глаза были всепонимающими. Первое впечатление подтвердилось, он понимал ВСЕ, или почти ВСЕ, был скептиком, но очень тонким и деликатным человеком. Его внешняя неприветливость была обманчивым «фасадом», за которым скрывался пронизательный ум и ранимая душа. Впрочем, и жизнь его тоже была «двойной», но об этом позже.

Борис Аркадьевич Альтшулер родился в Москве в 1944 году. Отец был известным экономистом — профессором, автором многих книг, а мама — врач-терапевт, работала в клинике академика В. Н. Виноградова, врача Сталина. После окончания мединститута, Борис работал врачом, затем научным сотрудником в лаборатории клинической генетики ИМГ АМН СССР (до 1989). Незадолго до школы Борис успешно защитил диссертацию (1978) по генетике язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

Во время школы мы общались мало и, если бы не моя последующая стажировка в ИМГ, то, наверное, и не вспомнили бы друг друга через столько лет. Но, Судьба распорядилась иначе. Когда по окончании школы генетиков я вернулся на стажировку в лабораторию клинической генетики, мне предложили рабочее место в комнате Бориса. С этого и началась история наших отношений, совместной работы, дружбы, любви, огорчений, встреч и расставаний, и многого другого. Короче, я обрел одного из самых близких мне людей в этом безумном мире. Да и звать его я буду по своему — Бобом, а он меня — Мишкой.

Несколько дней ушло на знакомство с лабораториями ИМГ, часть дня я проводил в лаборатории Кира. Боб же пытался разобраться с генетическими и

иными факторами риска возникновения «язвы». Мне особенно делать было нечего, и Боб охотно рассказал мне, над чем он работает. Когда суть задачи прояснилась, я предложил ему применить статистическую процедуру распознавания Вальда (Wald) для построения прогностической таблицы риска. Ранее я использовал этот метод для решения другой, не генетической, задачи. Боб заинтересовался и мы решили проанализировать этим методом его семейный материал. Надо было заново перебрать все его родословные. Работы было много, продвигалась она медленно. Когда в институте заканчивался рабочий день, мы продолжали у Боба дома. Через некоторое время, он вообще предложил мне перебраться из гостиницы к нему домой. Дело пошло быстрее. Вечерами мы разговаривали («трепались») обо всем на свете и без дипломатии. В счастливые дни Боб играл на гитаре и душевно пел. К концу моей стажировки мы написали черновик совместной статьи, которую дописывали позже «по телефону».

Борис рассказывал, что начал писать в ранней юности, и писал всю жизнь чуть ли не ежедневно. Стихи — на лекциях в мединституте или бродя по улицам, прозу — по ночам за письменным столом. И именно эта его «подпольная» или параллельная жизнь была главной, а учеба на врача, потом врачевание, пребывание в науке — ширмой, социально необходимым прикрытием, чтобы получать зарплату, общаться с людьми, ну и, приобретать жизненный опыт.

#### Личная вотчина

На школе генетиков и во время последующей стажировке в ИМГ я познакомился с другими людьми с иными нравственными кодами поведения, готовыми пресмыкаться перед начальством ради карьеры или других благ. Речь идет о «партии Бочкова» в ИМГ.

В 1969 Бочков возглавил Институт медицинской генетики АМН СССР (1969). Медицинской и клинической генетикой Бочков ранее не занимался, разве что стажировался у Виктора МакКьюсика. Однако, став директором ИМГ, он перевез в Москву из Обнинска несколько своих сотрудников, быстро устроил им и себе докторские степени. Они стали бешено эксплуатировать подчиненных и не давать ходу способным, дельным людям. Бочков приобрел много соавторов, в том числе и не лишенных талантов, которые сделали его соавтором в сотнях публикаций. Вот за такие «соавторские» заслуги Бочков получал премии и был избран академиком АМН СССР (1978).

Н. П. Бочков всегда уделял большое внимание подготовке кадров и, главное, их личной преданности (лояльности) ему. Он и его команда не чувствовали себя комфортно, когда рядом были более талантливые и внутренне свободные люди, такие, как В. П. Эфроимсон, В. М. Гиндилис, К.Н.Гринберг, Б. А. Альшулер, В. И. Кухаренко, О.А. Подугольникова, М. Г. Блюмина и другие. В разные инстанции и газеты поступало много жалоб и писем о драматической ситуации в медицинской генетике, в ИМГ, а также об отрицательной роли лично Бочкова, о его барских методах руководства института.

Директор ИМГ Н. П. Бочков в течение многих лет третировал всех сколько-нибудь значительных и свободно мыслящих ученых института. В период «перестройки» он начал получать отпор от ученых института (К.Н. Гринберга, В.И.Кухаренко, О. Подугольникова, Б.А.Альтшулера и других), не согласных с такой практикой. Вмешалась пресса, работали комиссии, происходили многочисленные собрания коллектива.

Короче, работать в институте стало невозможно (именно в разгар этой борьбы мне пришлось в ИМГ защищать докторскую диссертацию).

Борис оставил работу в ИМГ, и стал безработным, хотя мог бы защитить и докторскую, ибо директора Н.П. Бочкова удалось снять с его должности. Борис стал свободным и начал жить своей единственной жизнью, занимаясь литературой. Жить на гонорары было непросто, но он учился, работал, писал и публиковал.

Борис Горзев стал профессиональным литератором, автором многих книг стихов и прозы, интересных исследований о Пушкине (книга "Пушкинские истории"). Публиковал стихи и прозу практически во всех толстых литературных журналах — "Новом мире", "Знамени", "Дружбе народов", "Октябре" и др., а также за рубежом — в Польше, Болгарии, Германии, США.

Его перу принадлежит серия очерков о других известных личностях — сказочнике Гансе-Христиане Андерсене, русском царе Борисе Годунове, поэте Павле Когане и др. Книги Бориса издают в России, Германии и США. Радуют рецензии на его книги и публикации в толстых журналах. Дорога была не легкой, но, безусловно, счастливой.

Автор 16 книг — трех сборников стихотворений и тринадцати книг прозы (романов, повестей, рассказов), изданных в Москве, Санкт-Петербурге и в Германии. Несколько из этих книг приняты Русским отделом Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне. Помимо этого, еще 6 книг изданы в электронном виде (Германия). Борис автор сценариев для телефильмов, показанных по центральным каналам в рамках программы "Цивилизация". Переведен на польский и болгарский языки.

Читайте его книги (<http://rubuki.com/authors/boris-gorzev>; <http://www.era-izdat.ru/gorzev.htm>; <http://za-za-verlag.net/avtor/boris-gorzev.html>) и др.

Начиная с 1979 года, мы переписывались и встречались в разных местах, на Дальнем и Ближнем Востоке, в Москве и Томске, принимали участие в жизни друг друга. Судьбе было угодно, чтобы мы в последующие 35 лет стали «родными» друзьями, с его женой Юлией Абросимовой и прекрасными детьми: Женей и Зинулей (как мы ее все звали).

Сегодня Борис Горзев — профессиональный литератор, автор многих книг стихов и прозы, интересных исследований о Пушкине (книга "Пушкинские истории"). Публиковал стихи и прозу практически во всех толстых литературных журналах — "Новом мире", "Знамени", "Дружбе народов", "Октябре" и др., а также за рубежом — в Польше, Болгарии, Германии, США.

29.07.2015 в Москве скончался мой друг, поэт, прозаик, ученый-генетик — Борис Альтшулер (Горзев). Очень горько, хотя утешает то, что Боб отошел, окруженный заботой и теплом любящих его людей и подрастающим внуками.

Я был счастлив быть его другом... Вечная ему память.

## Б.А.Горзев - Пушкинский вечер (04.06.94г )

[www.staroradio.ru/collection/A](http://www.staroradio.ru/collection/A)

<http://svidetel.su/audio/441>

Горзев Борис Аркадьевич, москвич, публиковал прозу и стихи в журналах "Знамя", "Согласие", "Октябрь", "Дружба народов", "Грани" и др., в том числе зарубежных. Автор восьми книг (издательства "Грааль", "Изограф", "Хроникер" и др.), одна из которых вошла в серию "Мир современной прозы", выпущенной издательством "Хроникер" (2001 год); автор нескольких сценариев, по которым поставлены фильмы на центральных каналах российского телевидения; автор и участник серии передач о Пушкине и ряде современных поэтов на радиостанциях "Эхо Москвы" и "Радио России". Переведен на польский, болгарский и греческий. Член Союза писателей.

Через пять лет, в 1999 году, нас ожидает большой и прекрасный праздник — 200-летие А. С. Пушкина. Как видите, срок до юбилея — достаточный. И это хорошо: будем готовиться, сладко предвкушая.

Давайте представим, что мы, любящие Пушкина, собрались на кухне одного из нас, заварили хорошего чаю и говорим о любимом нами человеке. Говорим о нашей любви к нему (а у каждого она в чем-то своя, личностная), говорим о его величии (и почему — величие), о его загадке, потому что гений — это явление экстраординарное, исключительное и всегда по-своему загадочное. И если мы построим беседу так, то, может быть, она неким образом станет продолжением вот этих пушкинских, как бы обращенных к нам строк:

...И, долго слушая, скажите: это он,  
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,  
Взойду невидимо и сяду между вами,  
И сам заслушаюсь, и вашими слезами  
Упьюсь... и, может быть, утешен буду я  
Любовью...

<http://www.ega-math.narod.ru/Quant/Gorzev.htm>

## Пушкинская беседа



**Ведущий.** Через пять лет, в 1999 году, нас ожидает большой и прекрасный праздник — 200-летие А. С. Пушкина. Как видите, срок до юбилея — достаточный. И это хорошо: будем готовиться, сладко предвкушая.

Давайте представим, что мы, любящие Пушкина, собрались на кухне одного из нас, заварили хорошего чаю и говорим о любимом нами человеке. Говорим о нашей любви к нему (а у каждого она в чем-то своя, личностная), говорим о его величии (и почему — величии), о его загадке, потому что гений — это явление экстраординарное, исключительное и всегда по-своему загадочное. И если мы построим беседу так, то, может быть, она неким образом станет продолжением вот этих пушкинских, как бы обращенных к нам строк:

**...И, долго слушая, скажите: это он,  
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,  
Взойду невидимо и сяду между вами,  
И сам заслушаюсь, и вашими слезами  
Упьюсь... и, может быть, утешен буду я  
Любовью...**

**Первый собеседник.** Юрий Тынянов, один из тонких исследователей творчества Пушкина, указывал, что проделанная им, Пушкиным, творческая эволюция была катастрофической по силе и скорости; Конечно, — писал далее Тынянов, — бесполезны догадки о том, что делал бы Пушкин, если бы в 1837 году не был убит. Понятно: к истории неприложимо сослагательное наклонение. И тем не менее сам же Тынянов, проанализировав эволюцию пушкинского творчества, показал нам, куда Пушкин шел, каким он стал бы, не случись трагедия 37-го года.

Помню, много лет назад, при первом чтении, меня поразила тыняновская фраза: «Пушкин постепенно, но неукоснительно шел к концу своей *литературной* деятельности» (выделено мной). И только впоследствии, еще и еще перечитав Пушкина, я понял справедливость этого заключения.

Пушкин в очередной раз трансформировался. Одной из таких трансформаций был переход в прозу, а далее — в журналистику. Последующая трансформация — переход в историю, историю как науку. Пушкин становился историком. На прежних этапах исторический материал питал поэзию («Бахчисарайский фонтан», «Полтава», «Медный всадник»), затем прозу («Капитанская дочка», «История села Горюхина»), но постепенно происходил переход на *исторический материал* как таковой. «История Пугачева», работа над «Историей Петра Великого», планы работы над историей кавказских войн и историей Великой французской революции (написать последнюю он мечтал, кстати, особо) — все это доказывает, что Пушкин становился ученым-историком. И скорее всего, в сочетании с

литературным подходом и жанром литературы, это привело бы, если опять вспомнить Тынянова, к широкому раскрытию пределов литературы и, теперь добавлю от себя, к созданию принципиально нового вида творчества — синтеза литературы и науки.

Настаиваю на этом потому, что, в конце концов, Пушкин всегда шел к познанию. Как известно, есть три рода, или способа, познания: аналитический (наука), чувственный, художественный, порою иррациональный (искусство) и реконструктивно-пророческий (религия). Так вот, Пушкин, чем далее, тем явственнее, сочетал в себе первые два. Рамки замкнутого — одного лишь — литературного ряда для него стали узки. Он перерос и вышел из них.

Он вышел за рамки не только поэзии, но и литературы как таковой, в классическом ее понимании. Это был энциклопедист — историк, аналитик, философ, — но, во-первых, ученый, если под этим разумеется функцию познания.

Галилей говорил: «Истинное знание есть знание причин». Вот к этому-то знанию причин и шел Пушкин, шел всегда — сначала интуитивно, но затем все более и более осознанно. Я не сомневаюсь, что, проживи он хотя бы до 50 лет, его гений стал бы грандиозным, всеобъемлющим и подобного явления ни русская, ни мировая культура не знали бы. К великому сожалению, всего этого не поняли, не почувствовали, не преоценили не только многие (если не все) современники, но позднее и Белинский, который, как известно, отказывал Пушкину в мировом значении, отводя ему место лишь в сугубо национальном, да и то в узко литературном, конкретно — поэтическом, ряду.

**Второй собеседник.** Я очень рад, что мы затронули именно эту проблему — проблему творческой, если угодно, психологической эволюции Пушкина, — потому что намеревался говорить о том же.

Позвольте, я начну с полуанекдотического события, случившегося со мной уже достаточно давно, в 16-летнем возрасте.

Школа. Подготовка к экзамену по литературе на аттестат зрелости. Повторяем «Онегина». Учитель, вторя Белинскому, ставит перед нами, учениками, вопрос: «Почему Онегин не полюбил Татьяну-девушку, а полюбил Татьяну-женщину?» Одного за другим поднимает учитель моих соклассников, но вразумительного ответа так и нет. Полное замешательство. Наконец очередь доходит до меня. Успевал я по литературе на «отлично», был первым в классе, и потому, видимо, учитель берег меня «на закуску». Однако — увы! — ваш покорный слуга отделался тогда невнятным бормотанием.

Да, на этот сакраментальный для юноши вопрос я тогда не ответил, хотя понятно, что теперь ответить могу. Но сейчас дело не во мне, а в авторе «Онегина», в Пушкине. И чтобы вы поняли, о чем речь, задам в свою очередь вопрос вам.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что «Евгения Онегина» писал не один человек, а два? Нет. И правильно: его писал один. А вот как это вышло, вы задумывались? Ведь, по сути, «Онегина» писали действительно два человека — точнее, люди разных возрастов. Первому Пушкину, который начинал роман в 1823 году в Одессе, было 24 года; второму Пушкину, заканчивавшему этот роман в Болдино в 1830 году, был 31 год, а если учесть, что «Отрывки из путешествия Онегина», фактически девятая глава романа, написана в 1832 году, то Пушкину было тогда уже 33 года. 24 и 33 — это колоссальная разница с точки зрения развития, эволюции личности, ее становления. 24 — это начало взрослости, со всем, что соответствует данному возрасту и сопутствует из юности; 33 — собственно

взрослость, зрелость, уже зачастую лишенная флера романтизма, с отказом от юношеских установок, категоричности, пылкости. 24 и 33 — это действительно жизненные этапы, между которыми психологический знак равенства ставить не приходится.

Так вот: вы ощущаете эту разницу в «Онегине»? Нет! При чтении романа, скажем, за один-два вечера, возникает ли ощущение разорванности (психологической), нецельности? Нет. Первая глава, писанная в 24 года, и последняя, писанная в 33, — есть ли различия в стиле, композиции, глубине мыслей, уровне обобщений, знании жизни, ее философском осмыслении? Этой разницы — нет.

Мы не будем утверждать, что Пушкин-человек в 24 года не отличался от 33-летнего. Отличался, и немало. Но Пушкин-поэт, конкретно — автор «Онегина», этого разительного различия не являет! Он гармоничен, един, не противоречив, равно как в этом смысле не противоречив, един «Онегин». Вот этот феномен с точки зрения психологии — загадка. А с точки зрения поэзии? Если пушкинской, то — нет. Ибо она — действительно великая поэзия. И случай с Пушкиным — и в поэтическом, и в психологическом планах — случай редчайший, может быть, уникальный.

Следовательно, Пушкин-поэт в 23–24 года был больше себя-человека, взрослее, мудрее. Поэт в Пушкине опережал в нем остальное — все «бытование личности». Поэтический возраст опережал возраст, так сказать, паспортный — возраст личностный, психологический. Именно это позволяло его поэзии уже знать то, что не-поэзии открывается позже, на новом этапе развития личности.

Теперь вы понимаете, почему молодой, только что вышедший из юности Пушкин ведет своего Онегина той дорогой любви, которая представлена в романе? Пушкин-поэт уже тогда, в начале писания, «как сквозь магический кристалл», видел логику мотивов и поступков — видел судьбу.

Да, согласен, Юрий Тынянов, упомянутый нами ранее, определил совершенно верно: Пушкин прodelывал катастрофическую эволюцию. Вы только подумайте, подумайте и поразитесь: «Борис Годунов» отделен от «Руслана и Людмилы» всего пятью годами! Какой путь, какую внутреннюю жизнь прожил Пушкин с 1820 по 1825 год, когда в Михайловской ссылке создавал свою трагедию!

**Третий собеседник.** Я хотел бы коснуться проблемы, которую пушкинисты условно называют «вересаевской».

Как известно, после выхода в свет книги В. Вересаева «Пушкин в жизни» мнения читателей разделились: одни из поклонников поэта были благодарны Вересаеву за то, что он, собрав многочисленные документы, показал, каким действительно был Пушкин в жизни, во всем его разнообразии, без хрестоматийного глянца; другие, напротив, подвергли автора жесточайшей критике: дескать, как он мог вводить в обращение, представлять широкой публике материалы, характеризующие Пушкина с негативной стороны.

Что ж, от фактов никуда не уйти. На основании документов — писем, свидетельств современников, высказываний самого поэта — мы видим, что Пушкин мог быть в отдельные моменты жизни и мелким, и низким, и заискивающе-лебезящим, и даже пошлым. Достаточно хотя бы вспомнить, как после долгих домогательств добившись наконец благосклонности Анны Керн, Пушкин в абсолютно непристойной форме похваляется своей победой в письме к Соболевскому. Как совместить высокое «Я помню

чудное мгновенье» и это низкое письмо? Или другое свидетельство: в 1829 году за завтраком у Погодина Пушкин ведет себя так, что Мицкевич вынужден сказать: «Господа! Порядочные люди и наедине... не говорят о таких вещах!» И подобных примеров достаточно много.

Да, из книги Вересаева перед нами предстает не одномерный, а объемный образ Пушкина, человека, в котором, оказывается, как и в нас, было намешано всего. Ведь и в нас, как правило, уживается и высокое, и низкое. Только его высокое было не просто высоким, а великим. И, отвечая своим недоброжелателям в предисловии к третьему изданию книги, в 1926 году, Вересаев резюмировал свою позицию точной, совершенно справедливой фразой: «Подлинно великий человек с честью выдержит самые «интимные» сообщения о себе». (Заметьте, слово «интимные» взято в кавычки — то есть речь не о том, что действительно составляет сугубо личную, внутреннюю, закрытую от посторонних часть жизни, а о бытовой стороне существования.)

Так вот, повторим: подлинно великий человек с честью выдержит самые «интимные» сообщения о себе. И Пушкин их выдерживает. И потому нет надобности в запретах на те документы, где он — «не такой, как хотелось бы». Да, как личность Пушкин порою неоднозначен, негармоничен (пожалуй, в наибольшей мере до 1831 года, до брака), однако однозначно, гармонично его искусство — поэзия, проза, все его творения.

И кстати: если на секунду оставить в стороне его искусство, а говорить только о личности — не о творящем, а о жившем, бытовавшем Пушкине, — то давайте вспомним, как он умирал, как вел себя в последние два дня своей жизни, тяжелейшие, мучительнейшие, когда человеку уже не до игры, не до позы, не до всего суетного, когда он осознает самое страшное: что «кончена жизнь». Вот тут-то зачастую и проявляется, кто есть кто, кто велик, а кто мелок или никчем. Это страшный экзамен на человечность, высоту, благородство, силу духа. Страшный до того, что судить не выдержавших или выдержавших не слишком — все-таки не стоит, это грех.

А вот к Пушкину это последнее, слава Богу, не относится. Ибо сей страшный экзамен прощания с жизнью (в сознании!) он выдержал по самой высшей мерке. Известно, что друзья, бывшие в эти двое суток у его постели, были потрясены его поведением, стойкостью, добросердечием, тем, в частности, как до последних минут, уже мысленно простясь с собою, думал и говорил о жене, друзьях («За Данзаса просите!» — одна эта повторяющаяся забота о друге-секунданте чего стоит).

Высоким и сильным оказался Пушкин перед лицом смерти. Недаром после его кончины один из очевидцев сказал: «Теперь, после того как я видел, как умирал Пушкин, я не боюсь собственной смерти».

Я думаю, эти слова — высшая награда, которой может быть удостоена личность. И следовательно, творческое и нетворческое, то есть чисто человеческое, бытовое, было в Пушкине не разъединено («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...»), а составляло одно целое. Название этому — духовность.

**Ведущий.** Заканчивая нашу короткую беседу, я хочу сказать, что существуют как бы три стихии отношения к Пушкину. И хотя эти три стихии — точнее, их последовательность — связаны со временем, с нашим собственным развитием, с ходом наших жизней, я намеренно употребляю термин «стихии отношения», а не «этапы отношения» к Пушкину.

Итак, стихия первая. Это — вера, вера в то, что Пушкин — великий, и эта вера является результатом внушения, ненавязчивого, но стойкого внушения, которому мы подвергаемся в детстве и юности. Воспитатели, педагоги, печать, радио, телевидение — всё убеждает нас, еще несмышленицей, что Пушкин — великий. И это почти как некий безусловный рефлекс, как априорная данность, как истина — короче, вера, с которой мы и выходим из юности, без тени сомнения в собственной, то есть не только всеобщей, но и своей личной правоте.

Но вот идут годы, мы разбредаемся по жизни, по интересам, по индивидуальным судьбам. И тем из нас, кто на новом этапе возвращается к Пушкину, перечитывает его, узнает о нем все больше и больше, тем, сменяя прежнюю веру, внушенную, догматичную, открывается знание: почему Пушкин велик, чем велик и как. Это — радостные, хотя и не простые открытия — открытия осмыслением, трудом, иногда интуицией. «Да, — говоришь в результате, — теперь я знаю, что Пушкин действительно велик»... Вот это и есть вторая стихия отношения к Пушкину: знание.

А следующая, третья стихия отношения к нему — опять вера, но та вера, которая выводится из знания, восходит от него. И когда к вам приходит именно такая вера, тогда возможны чудеса. Потому что чудеса — следствие не знания, а веры. И Пушкин для вас — это уже религия — вера и любовь, но в основе, повторю, в фундаменте такой религии — знание, знание причинное, а не только или не столько фактологическое.

Пушкин для меня — это уже религия, и тут нет ничего от национальной фанатерии или представлений о некоем российском мессианстве. Религия гармонии налагает запрет на проповедь особенности или исключительности любого уровня.

Пастернак, а за ним Цветаева, а задолго до них Тредьяковский, указывали, что искусство — это, конечно, не жизнь, а то, что могло быть или должно быть в жизни. Вот потому и гармония, которой нет в жизни, но которая есть в вере.

Это, кстати, блестяще сформулировала упомянутая только что Марина Цветаева в книге «Мой Пушкин»: «Ведь Пушкина убили, потому что своей смертью он никогда бы не умер, жил бы вечно». Вне всякого сомнения, что для Цветаевой, знавшей Пушкина глубоко и тонко, такое заключение не было лишь в некотором роде метафорой, приемом, чувственным парадоксом. Для нее возможность бессмертия Пушкина-человека — осознанная вера, результат мучительного познания и такой же мучительной любви.

И вслед за Цветаевой я скажу, что Пушкин, конечно, вечен, и эта вера — не следствие вложения воспитанием, а осознанная необходимость, необоримая и неизбывная, которая, по-моему, любовь и есть.



### Авторский вечер поэта Б.Горзева .17.04.1996 г. Дом-музей Марины Цветаевой (ДМЦ)

Через пять лет, в 1999 году, нас ожидает большой и прекрасный праздник — 200-летие А. С. Пушкина. Как видите, срок до юбилея — достаточный. И это хорошо: будем готовиться, сладко предвкушая.

Давайте представим, что мы, любящие Пушкина, собрались на кухне одного из нас, заварили хорошего чаю и говорим о любимом нами человеке. Говорим о нашей любви к нему (а у каждого она в чем-то своя, личностная), говорим о его величии (и почему — величии), о его загадке, потому что гений — это явление экстраординарное, исключительное и всегда по-своему загадочное.

И если мы построим беседу так, то, может быть, она неким образом станет продолжением вот этих пушкинских, как бы обращенных к нам строк:

...И, долго слушая, скажите: это он,  
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,  
Взойду невидимо и сяду между вами,  
И сам заслушаюсь, и вашими слезами  
Упьюсь... и, может быть, утешен буду я  
Любовью...

## **КНИГИ БОРИСА ГОРЗЕВА**

1. За Ойкуменой (сборник стихотворений). М., «Грааль», 1996
2. Пушкинские истории (расследования). М., «Изограф», 1997
3. Теплый переулочок (повести и рассказы). М., «Грааль», 1998
4. Летопись (сборник стихотворений). М., «Грааль», 1999
5. Несколько нежных дней (избранные рассказы, повесть). М., «Изограф», 2000
6. Страсти поздних времен (цикл повестей). М., «Хроникёр», 2001
7. Любовь в конце столетия (роман, повесть, рассказ). М., «Хроникер», 2001
8. Синдром Чарли Чаплина (роман, повесть). М., «Виграф», 2004
9. Горящий человечек (роман, три рассказа). М., Международное издательство «ЭРА», 2010
10. Virtuoz и другие (цикл повестей). Санкт-Петербург, «Геликон-плюс», 2011
11. Хлеб и вино (сборник стихотворений). М., «ЭРА», 2011
12. Врачебный роман (роман, повесть, рассказ). М., «ЭРА», 2011
13. Жизнь и смерть бабки Соколовер (роман). Спб, «Геликон-плюс», 2011
14. Кино-Маркиза, или Любовь в конце столетия (роман). Дюссельдорф (Германия), «Za-Za Verlag», 2012
15. Блаженство горького творенья (роман). Спб, «Геликон-плюс», 2012.
16. Частная жизнь героя в XX веке (две повести и рассказ). Дюссельдорф (Германия), «Za-Za Verlag», 2014
14. Кино-Маркиза, или Любовь в конце столетия (роман). Дюссельдорф (Германия), «Za-Za Verlag», 2012
15. Блаженство горького творенья (роман). Спб, «Геликон-плюс», 2012.
16. Частная жизнь героя в XX веке (две повести и рассказ). Дюссельдорф (Германия), «Za-Za Verlag», 2014